

Помнишь, Даша, как мы выбирали собаку: сколько велось разговоров и споров о разных собачьих породах и о том, какая из них подошла бы нашей семье? Конечно, мечта о щенке жила в тебе сызмала — кто из детей не мечтает о нём? — но мы с твоей мамой решили: пусть дочке исполнится десять, чтобы уход за питомцем лежал и на подростковой девочке тоже — вот тогда мы решимся принять в дом щенка. И помнишь, ты признавалась, как долго не верила в то, что обещание исполнится, и мечта воплотится? Интересно, а откуда возникла в твоей детской душе мечта о собаке? Может, прямо из жизни, в которой нас окружает немало четвероногих? Ведь мы обитаем на тихой окраине города, и трудно выйти из дома, не

встретив собаку; и трудно, видя так много собак — кем-то любуясь, кого-то остерегаясь, кого-то пытаюсь погладить — не подумать: а что же у нас у самих до сих пор нет щенка? Ведь наши гены, хранящие память о первобытных временах, не могут не нашёптывать нам и о том, что человек без собаки куда более уязвим, незащищен и слаб — нежели тот, кто имеет рядом четвероногого друга. В известном смысле, человек без собаки не вполне человек: он ещё не отделился от дикой природы настолько, что может поставить между ней и собой некий защитный буфер в виде собаки; а с другой стороны, у него не осталось живых мостов, соединяющих с древней родиной.

Собака и есть этот мост, эта связь, которая позволяет нам слышать голос и зов природы, осознавая и то, насколько мы от неё отделились. Антропологи могут, конечно, поднять

Андрей Юрьевич Убогий (1963 г.р., Железногорск Курской обл.) родился в семье врачей, среднюю школу окончил в Калуге, медицинский институт — в Смоленске. Работает хирургом-урологом (с 1986). Автор книг прозы «Горькая радость», «Река, по которой плывём», «Общага», «Дороги и сны», «Ковчег», «Остаются слова», «Моя хирургия» и др. Проза публиковалась в российских журналах и альманахах. Лауреат нескольких литературных премий, в т. ч. Патриаршей литературной премии (2021). Роман «Доктор» переведён на итальянский язык.

меня на смех — но мне кажется, что без важной детали — собаки — картина под названием «гомо сапиенс» была бы незавершённой.

Или, Даша, мечта о собаке окрепла в тебе, пяти-шестилетней, в те вечера, когда я рассказывал немудрёную сказку, в которой собака являлась спасителем человека? Эта сказка вызывала в тебе неизменный восторг. «Жила у одного человека собака, — начинал я, — и она его очень любила...» Ты широко раскрывала глаза, ожидая буквально каждого следующего слова. Причём, волновалась ты не в предчувствии неизвестных событий — история пересказывалась из вечера в вечер — а оттого, что боялась: не изменю ли я что-либо в ней? «И вот пошёл человек зимой в горы» — говорил я, а ты добавляла: «На охоту!» «Да, на охоту, — спешил я исправиться, — и собака, как всегда, пошла с ним...» Затем следовал рассказ о том, как охотник упал, сломал ногу — и остался лежать на снегу, замерзая. Но он успел крикнуть своей верной подруге: «Приведи людей мне на помощь!» Собака со всех ног, одолевая вьюгу и тьму, побежала в селение, где жил охотник — и тут наступала кульминация всей истории. «Прибежав в деревню, — рассказывал я, сам отчего-то волнуясь, — собака бегала от дома к дому и во весь голос скулила и выла...» «Скулила, выла! — подхватывала ты, — сама чуть ли не подвывая, как та собака, — скули-ила, вы-ыла!» Что было дальше, понятно. Деревенские жители узнали собаку, догадались, что с её хозяином случилось

несчастье и спешно снарядили спасательную экспедицию. Вела ночную процессию — с факелами, лопатами и носилками — понятное дело, всё та же собака. Охотника, уже чуть живого, благополучно нашли, откопали и отогрели, принесли в деревню, а собака с тех пор стала героем.

Вот что было в той сказке такого, что вызывало в тебе и волнение, и умиление? Конечно, собака. Представление о том, каким должен быть истинный друг, и какова настоящая верность — возможно, вошло в твою душу вместе с образом той безымянной собаки из незатейливой сказки отца.

Но был, думаю, и ещё один источник мечты о собаке: это книги, которые ты с увлечением читала — и в которых встречалось немало собак. А поскольку наша семья в высшей степени литературоцентрична — в ней одних писателей двое! — то собаки, живущие в литературе, не могли не влиять на душу впечатлительного и много читающего ребёнка. А уж наша русская классика куда как богата собаками! Возглавляет этот собачий литературный «парад», пожалуй, Каштанка, которой её хозяин говаривал: «Ты, Каштанка, супротив человека — всё равно, что плотник супротив столяра...» А следом за нею жалобно поскуливает Муму, из последних сил настигают матёрого русака борзые Ругай, Ерза и Милка, ходит на задних лапах белый пудель Арто, вздрагивает во сне Чанг, часто бьётся собачье сердце голодного Шарика, несёт службу верный Руслан, вслепую идёт по звериному следу

Арктур-гончий пёс, шевелит чёрным ухом белый Бим, и охраняет границу пограничный пёс Алыи... И все эти собаки, что скулят, лают, тьякают, вуют, а то и рычат на страницах русской литературы — герои всегда положительные, вызывающие не просто сочувствие и умиление, но порою и слёзы читателя. И вот парадокс: не будь в нашей литературной классике такого количества четвероногих героев — она отчасти утратила бы своё человеческое лицо.

Но годы летели, и твой, Даша, возраст приближался к заветным десяти годам: времени, когда мы решили обзавестись собакой. И вот тут, если помнишь, книги художественные были потеснены литературой по собаководству: ведь нам предстояло и выбрать породу собаки, и получить начальные сведения по уходу за ней. Читая те книги вместе с тобой, я был изумлён обилием разнообразных собачьих пород, существующих в мире. «Как, — думал я, — от единого волкоподобного предка могло произойти такое множество разных существ? И неужели всё это — близкие родственники? И этот, внушающий ужас, громадный мастиф с брылястой слюнявой мордой, и эта порочно изогнутая левретка, и эта стремительная борзая, во время гона похожая на летящую птицу, и коротконогая такса, ныряющая в барсучью нору, и стриженный пудель на цирковой арене, и мохнатый добряк сенбернар, и уродливый мопс, и симпатяга-дворняжка, виляющая хвостом: неужели это всё представители одного рода-племени?»

Да, непросто нам было выбрать подходящую нашей семье породу: глаза разбегались, а мысли путались, и у каждого члена семьи было своё мнение об идеальной собаке. Но я опускаю сейчас эти все разговоры, споры и называю породу, которая примирила нас всех. Это шнауцер: лохматый пёс средних размеров, которого на его исторической родине, в Южной Германии, называли «собакой кучера». Нам понравилось, что средний шнауцер — собака универсальная. Три главные собачьи роли — быть сторожем, охотником и пастухом — миттельшнауцер исполняет прекрасно. Правда, ни в охотнике, ни в пастухе мы не нуждались — да и сторожить в доме было особенно нечего — но такая универсальность собаки позволяла надеяться, что и к жизни в нашей семье, не имевшей «собачьего» опыта, пёс сумеет хорошо приспособиться.

Итак, выбор был сделан; но оказалось, что не так-то и просто найти щенка миттельшнауцера. Ни в нашей Калуге, ни в соседней Туле их на ту пору не оказалось; пришлось майским днём 2006 года отправляться за щенком аж в первопрестольную.

2

А пока мы втроём — я, Лена и Даша — едем на электричке в Москву, я попробую вспомнить, какие собаки были в моём собственном детстве. И опять — это надо же! — всё начинается с литературы. Только-только выучившись читать, я так полюбил один стишок о собаке из детской книжки, что охотно декламировал

его всем, кто приходил к нам в гости. «Я нашёл в канаве серого щенка, — произносил я восторженным голосом, — и в котяшье блюдо налил молока...» Помню: слово «котяшье» неизменно вызывало смех слушателей — мне это нравилось — и я нарочно не стал исправляться, даже когда осознал свою речевую ошибку. Дальше стишок рассказывал, как щенок вырос, как к мальчику приехал его старший брат-пограничник и решил взять Дозора (так звали пса) с собой на заставу. Мальчик, конечно, страдал, расставаясь с четвероногим другом — но чем не пожертвуешь ради любимого брата и ради защиты Родины? А на границе отважный Дозор не только спас жизнь новому хозяину, но и задержал злодея-нарушителя. Этот стишок глубоко запал в мою детскую душу, и образ отважной собаки, готовой отдать за хозяина жизнь — лёг, можно сказать, в фундамент первоначальных ребячьих представлений о нравственности. Но живой, настоящей собаки у меня в детстве не было — зато была игрушечная плюшевая собачка, с которой я засыпал, заботливо сунув её под подушку. Коричневые уши скоро вытерлись до белизны и истрепались — но плюшевый друг дорог был мне и потрепанным. Трудно поверить, но эта собачка сохранилась доселе — только уже, разумеется, не у меня под подушкой, а на полке старых детских игрушек. До сих пор на сердце теплеет, когда я вижу её — и словно встречаюсь с самим же собой — пятилетним. Ребёнку необходимо кого-то любить — причём конкретно

и осязаемо, с возможностью тискать, ласкать, обнимать предмет своей детской любви. Думаю, что на этой глубинной потребности и основана тяга детей к щенкам и котяткам: как бы пробным объектам любви, направляющим и формирующим душу ребёнка. И я точно знаю, что моё отношение к той коричневой плюшевой собачонке было уже любовью — пусть зачаточной, слабой и не сознающей себя, как любовь. Так в бутоне уже существует цветок, а в завязи — будущий плод; вот и чувство, что я испытывал к той собачке, я называю любовью — ничуть не смущаясь невзрачностью предмета, на котором она остановила свой выбор.

Разве не так же бывает и в отношениях между людьми? Любовь живёт в сердце любящего: это луч, исходящий из нашей души — и заставляющий тех, кого он озарил, преображаться в животворящем свете её. Написал сейчас слово «животворящий» и вспомнил: а ведь моя любовь и впрямь оживила ту плюшевую собачку! Щенка мне родители, правда, не подарили — но до хомяка снизошли. Да, у нас в доме проявился хомяк Хома (названный в честь Хомя Брута из «Вия»: мы же помним, что значит литература для нашей семьи) — и он поразительно напоминал мою игрушечную собачонку. И плюшевой мягкостью шёрстки, и блеском бусинок-глаз, и даже формой, размером и цветом коротколапого тельца. Можно было подумать: собачка волшебным образом раздвоилась, и её оживший двойник теперь шуршал газетами в трёх-

литровой стеклянной банке, где мы его поселили. И вот что характерно: к собачке с тех пор я заметно остыл — луч любви переместился на новый объект — но и осознал, что любить живое существо много сложнее, чем тискать бесчувственную игрушку. Хомяка уж не сунешь к себе под подушку и не понянчишься с ним, как тебе хочется: у живого свой нрав и свои интересы. Так что любовь, как я вдруг узнал — это ещё и заботы, тревога, обязанности по отношению к другому. А этот «другой» — он, кстати, может быть и совсем равнодушен к тебе: как был равнодушен хомяк ко всему, что не касалось еды или рваных газет, в которые он закапывался, скрываясь от моих назойливых глаз и рук. Скоро Хома проявил независимость и равнодушие ко мне: просто-напросто удрал, когда я вынес его погулять на лужайке у дома. Горевал я, признаться, недолго: мне уж наскучило наблюдать, как хомяк дни напролёт или спал, зарывшись в ключку газет, или грыз хлебные корки, или набивал рисом свои защёчные мешки, отчего его вес и размер увеличились, по меньшей мере, вдвое. Я нашёл утешение в дворовых собаках: Потапе и Джере. Эти дворняжки были общими для жителей нашей пригородной деревни Бушмановки: и дети, и взрослые старались их подкормить — или, по крайней мере, ласково потрепать по загривку, чему эти собаки никогда не противились. Рыжий Потап отдалённо напоминал сеттера — он был лопух и лохмат — а в коротконогой брюнетке Джере несомненно имелась кровь таксы.

Как отличалась их внешность, так был различён и характер дворняжек. Потап был простецким парнем, никогда не скрывававшим своих чувств и намерений. Уж если он был чему рад, то выражал свою радость бурно и неукротимо; а если на кого злился — Бушмановка оглашалась его громким лаем. А хитрая Джера — о, это была ещё та штучка! Что такое «дипломатичное» поведение, я впервые узнал, наблюдая за ней. Кормились дворовые наши собаки тем, что пошлёт им собачий бог — руками жителей нашей окраины. Потап просто-напросто принимал всё, что ему дают — благодарно размахивая рыжим флагом хвоста. А вот Джера — та постигала порядки и правила, царящие между людьми, и копировала их с комической точностью. Она знала: чтобы получить от людей что-либо, полагалось сначала подать «заявление». Она подбирала любую бумажку — обрывок картонки или газеты или скомканную коробку от папирос — и, держа её в хитрой и словно бы улыбавшейся пасти, подносила своё «заявление» к ногам человека, который должен был его «рассмотреть». Всё её длинное чёрное тело при этом угодливо извивалось, а лапки — и так-то короткие — были почтительно полусогнуты. В общем, Джера вела себя, как подобострастный проситель в каком-нибудь гоголевском департаменте. Но этим хитрость искусственной в политических тонкостях Джеры не ограничивалась. Случалось, что получивший собачье «заявление» человек решал, смеха ради, су-

нуть Джере вместо лакомого кусочка что-нибудь несъедобное: щепку или пустой спичечный коробок. Так вот: Джера и эту издевательскую подачку принимала с выражением глубочайшей признательности: с благодарным поскуливанием, припаданием к земле и восторженной дрожью длинного тела. Она хватала зубами ту дрянь, что ей сунули, относила подачку на порядочное расстояние — и только там, вдалеке от глаз «благодетеля», с презрением выплёвывала её. Так что прямой смысл выражения «хочешь жить — умей вертеться» я осознал уже в детстве, наблюдая за подобострастно и неутомимо вертящейся Джерой. Простодушному парню Потапу подобные хитрости даже и в голову не приходили. Устроиться в жизни он, похоже, так и не сумел, зато сумел геройски погибнуть под колёсами автомобиля, когда пытался прогнать это грозно рычащее чудовище с нашей тихой окраины. Помню, как мы, дети, со слезами его хоронили и написали на могильной фанерке: «Здесь лежит верная собака Потап».

Так что собаки в моём детстве всё-таки были; а то, что они являлись общими — или ничейными — ничуть не мешало моей любви к ним.

3

Но Москва приближается, и мы все волнуемся. Ну, ещё бы: на многие годы жизнь нашей семьи должна будет перемениться. А я думаю ещё и о том, что не только у Даши, но и у меня самого это будет первый щенок в жизни. Конечно, детская мечта

исполняется чуть поздновато — мне уже сорок два — но удивительно, что она всё-таки исполняется. Питомник шнауцеров, куда мы направлялись, располагался на северной окраине столицы. Трудно сказать, что каждый из нас представлял при слове «питомник», но в реальности это оказалась типовая квартира в серой многоэтажке, одна из комнат которой была отведена собакам. В углу, отгороженном досками, копошились чёрные двухмесячные щенки. Никакого выбора не предстояло: наш кобель был заранее выделен нам хозяйкой питомника.

Помню, как чёрный забавный комочек всё пытался от нас убежать — в чём уже смолоду проявлялась его независимость и самобытность. Нам выдали, вместе с лопухим и неуклюжим щенком, и его громкое имя, напечатанное в аттестате: «Луисбург Хэндли Трэлз». В той же грамоте указывалась и его родословная: помню, в ней числилось несколько чемпионов породы.

В Калугу Луи (так мы сократили его важное имя) ехал в плетёной корзине, на подстилочке, тоже выданной нам хозяйкой: «чтоб не скучал по дому первое время». Щенок вёл себя, в целом, спокойно и особых хлопот в пути нам не доставлял. Корзинку с ним Даша не выпускала из рук. Казалось, наша дочь не верила в то, что всё, происходящее с нею — не сон, и что у неё в самом деле теперь есть настоящий щенок. Помню Дашино ошеломлённое, какое-то даже измученное счастьем лицо, и то, как она невпопад и не сразу отвечала на

наши с Леной вопросы: и сердце, и мысли её были заняты только Луи. А мне самому, когда я смотрел на Дашу, оглушённую счастьем, отчего-то было печально: никогда прежде я не испытывал столь же глубокой и необъяснимой вины перед собственной дочерью – вины, неизвестно за что... Итак, мы вернулись в Калугу с милейшим щенком — но и с грузом забот и проблем, неизменно сопровождающих начинающих собаководов. Первым и главным вопросом стал, естественно, вопрос о кормлении. И вот тут обнаружилось важное качество нашего юного друга: он был почти равнодушен к еде. «Всё понятно — не пищевик!» — сказала, как припечатала, одна из авторитетных знакомых «собачниц», которой я как-то посетовал на эту особенность нашего пса.

Такое свойство Луи, открытое нами уже в первые дни общей жизни, имело последствия очень серьёзные: оно отнимало у нас важнейший рычаг воспитания и дрессировки собаки. Как заставить щенка выполнять команду — если он равнодушен к награде? Не будешь же всякий раз бить его скатанной в трубку газетой? Но и не будешь, с другой стороны, действовать только лаской да уговорами, взывая к собачьей совести — тем более, что в её существовании я до поры до времени сомневался.

Оказалось, впрочем, сомневался я зря: Луи оказался и совестлив, и застенчив. Забегая вперёд, расскажу, как наш пёс вёл себя через несколько лет, когда у него возникли проблемы с кишечником. Погуляв с Луи утром,

мы оставляли в квартире его одного: я и Лена работали, Даша училась. Когда же я возвращался с работы, то уже с первого взгляда на пса понимал: случилась очередная кишечная «неожиданность». Луи не подходил ко мне, даже когда я его звал (это при том, что обычно он дружелюбно приветствовал каждого члена семьи), а, напротив, прятался где-нибудь под столом, всем видом выражая раскаяние. Хвост был поджат, лапы согнуты, шея опущена, а посмотреть мне в глаза он никак не решался. Всем обликом и поведением Луи словно мне говорил: «Хозяин, убить меня мало!» И ведь никто никогда не наказывал его за подобные слабости, понимая: скорее, мы сами виноваты в том, что вовремя не выпустили пса во двор, где он мог бы спокойно справиться нужду. Я уверен: у Луи в эти минуты просыпалась именно совесть — осознание того, что он преступил запрет, нарушать который нельзя. А застенчивость нашего пса проявлялась в том, как он ел. Даже голодный, он мог игнорировать миску с едой, ожидая особого приглашения. Помнишь, Даша, как мама устраивала целые представления: с ласковыми словами, с почёсыванием Луи за ушами, с предложением лакомства из своих рук — и всё для того, чтобы наш «не пищевик» соизволил, наконец, подойти к миске? Есть Луи начинал не сразу. Сначала он брал из миски небольшой кусок и уносил его прочь с наших глаз — обычно на коврик в прихожую. Там, без свидетелей, он аккуратно съедал его — и только после этого возвращался на кухню, где

были люди и где стояла его миска с кормом. Но и начав есть из миски, он мог прерваться и отойти в сторону, когда замечал на себе чей-либо пристальный взгляд или слышал, как его окликают по имени. Вот откуда такая застенчивость в грубом животном, для которого, кажется, ничего не должно быть важнее насыщения утробы? Неужели Луи сознавал, что всегда подчиняться звериной природе негоже, и в жизни есть вещи достойные и недостойные, сообразные с идеалом должного поведения или нарушающие его? Похоже, жизнь рядом с людьми заставляет собаку воспринимать и усваивать что-то из человеческого поведения. Каждый, конечно же, замечал, до чего комично собаки порою напоминают тех, кто ведёт их на поводке, являясь своего рода карикатурами или шаржами на собственных хозяев. Думаю, что собака может копировать не одного человека, но и семью, где она обитает: её нравы, привычки, манеры.

Сейчас очень кстати припомнился рассказ дочери об одной из студенческих олимпиад по неврологии. Помнишь, Даша, как в Казани на вопрос одного из преподавателей — от куда, мол, девушка, вы, студент-медик, так разбираетесь в живописи? — ты, пожав плечами, ответила: «Я всё-таки росла в интеллигентной семье...» Думаю, что и наш пёс, если б какой-нибудь высший собачий авторитет спросил у него: «И откуда ты такой взялся?» — Луи вполне мог бы, чуть сдвинув косматые брови, ответить: «Я всё-таки рос — извините — в интеллигентной семье...»

Но не слишком ли я увлёкся психологическим портретом Луи, упустив то, с чего обычно начинают рассказ о собаке: её экстерьер? Чёрный, лохматый, забавный щенок, что ехал в Калугу в корзине, которую Даша не выпускала из рук, быстро рос, и из чёрного становился всё более серым, приобретая тот самый благородный окрас — «перец с солью», который считается наиболее характерным для этой породы. Примерно к восьмимесячному возрасту Луи принял облик идеальной собаки: средних размеров, ладно скроенной и крепко сшитой. Он был поджар и на редкость силён: даже я, не самый хилый мужчина, с трудом удерживал Луи на поводке, когда он азартно рвался куда-то. А уж могучие челюсти и внушительные зубы нашего пса были созданы словно для куда более крупной собаки и лишь случайно достались Луи. Таким же, «на вырост», был его голос: густой, хрипловато-бархатный бас, чья сила была такова, что, скажем, прохожие нередко обманывались, соотнося этот голос с размером пса. Гуляешь, бывало, с Луи, и он неожиданно рывкнет за чьей-либо спиной. Прохожий, вздрогнув, оглядывается и всегда смотрит намного выше Луи, потому что не может поверить: неужели настолько могучий бас принадлежит вот этому псу, чья холка едва достаёт до колена? Не один, впрочем, голос, но и морда Луи была солидна и живописна. Борода, усы и лохматые брови, скрывающие большие карие глаза — всё это было одновремен-

но и диким, всклокоченным — так в 90-е годы прошлого века выглядели бомжи возле мусорных баков — но и, как сейчас выражаются, стильным. Недаром чуть ли не всё — и знакомые, и незнакомые, кто встречал нас с ним на прогулке, восклицали при виде Луи: «Какой красавец!» Всего же эффектнее превращение бомжа в аристократа происходило во время тримминга. Вот только что я гулял с лохматой собакой почти подзаборного вида, чьих глаз было не разглядеть сквозь косматую шерсть — казалось, все репы нашей окраины собраны на ней, и чей облик уж никак не говорил о знатном происхождении. Но вот начиналась процедура тримминга, непростая и для Луи, и для грумера Риты, которая терпеливо, в течение многих часов выщипывала, а потом стригла жёсткую собачью шерсть. Под столом, на котором лежал изнывающий, тяжело вздыхающий Луи, вырастала гора серой шерсти, которая была чуть ли не больше его самого.

Когда же нудная процедура, наконец, завершалась — я снимал со стола совершенно другую собаку. Теперь это был аристократ с аккуратной бородкой и строго торчащими кустиками бровей — какие огромные и задумчивые глаза открывались из-под недавних зарослей шерсти! — и с нервно переступавшими лапами, под коротко стриженной шерстью которых отчётливо переливалась мускулатура. Можно сказать, у нас было две разных по экстерьеру собаки: одна до тримминга, а другая после, одна лохматая и диковатая, а

другая холёная и благородная. Мне, признаться, лохматый оболтус нравился больше. Хоть, конечно, с отросшею шерстью было куда больше возни: одно мытьё грязных лап после прогулки и вычёсывание репёв превращалось в непростую задачу. Но всё равно, я с радостью видел, как Луи обрастает: из аристократа превращаясь снова в простецкого парня.

Через пару месяцев после тримминга уже появлялась лохматость и встрёпанность, но глаза ещё были видны; и серьёзный взгляд пса из-под серых бровей мог быть гневным, особенно, когда он подкреплялся густым басом его голоса. Смешно сказать, но мне взгляд Луи порою напоминал грозный взгляд философа Шопенгауэра на известном дагерротипе — том, где отшельник из Франкфурта тоже небрежно всклокочен и смотрит настолько сурово, что хочется скрыться с его глаз долой. Надеюсь, тень мудреца не сердится на меня за это, тем более, что мизантроп Шопенгауэр сам страстно любил собак.

А Луи мы и впрямь называли «философом»: за его погружённый в себя, независимый и задумчивый нрав. По натуре он был интровертом, и событиям внешнего мира бывало не просто пробить его внутреннюю защиту. Всегда чувствовалось, что Луи существует сам по себе, исходя из своих собственных представлений и предпочтений. Но при этом характер его был соткан из парадоксов. Вот как, например, можно быть трусоватым и храбрым одновремен-

но? На крупных собак — овчарок, ротвейлеров, даже мастифов — Луи, случалось, отважно кидался, издавая свой грозный басовый рык; и нередко большие собаки озадаченно пятились перед сравнительно небольшим шнауцером. Зато перед разной собачьей «мелочью» — болонками, йорк-терьерами или пекинесами — Луи пасовал и пятился сам. Опасался он, стыдно сказать, даже кошек, стараясь их как бы не замечать или обходить стороной.

Как это объяснить? Может, лучше просто признать, что всякий характер, в том числе и собачий, есть тайна, которая не поддаётся ни классификации, ни разумному толкованию? Всем, кто близко общался с Луи, было ясно, что этот задумчивый пёс наделён индивидуальностью: тем особенным и неповторимым, что отличает его от всех прочих собак. А тайна индивидуальности — одна из самых глубоких тайн вообще: неважно, идёт ли речь о собаке или о человеке. «Бог и лесу не сравнял», — говорит пословица; похоже, что «штучность» и уникальность всего живого есть такое же неотъемлемо-важное качество жизни, как, скажем, обмен веществ.

Думаю, что загадка индивидуальности неуловимо перетекает и в тайну любви. Разве можно любить что-нибудь «вообще», то есть нечто безликое и усреднённое? Нет, любовь всегда избирательна и направлена на конкретное и единичное: вот на этого человека, на этот дом или книгу, или этого пса с его серой, лохматой, задумчивой мордой.

Но если кто-нибудь думает, что Луи рос сам по себе, как трава в поле, то он ошибается. Нет, мы решили дать юному псу достойное его благородному происхождению образование, и несколько раз посетили занятия на собачьей площадке. Площадка мне не понравилась сразу: это был асфальтовый пыльный пустырь на площади Маяковского, между гудящим шоссе и железнодорожной насыпью. Зимой здесь заливали каток, а летом внутри хоккейной коробки кругами ходили собаки и их владельцы. Похоже, занятия тяготили и тех, и других. Ну что хорошего может быть в том, чтобы битый час таскать собаку на поводке, чувствуя, как её горло дрожит и хрипит, и как пёс задыхается, не понимая: «Да чего же хотят от меня и хозяин, и все эти люди вокруг, и собаки, которые, кажется, только и думают, как меня разорвать?» От растерянности и возбуждения Луи остервенело рычал на своих «одноклассников» (а это были, в основном, ротвейлеры и овчарки); те, разумеется, хотели в отместку тяпнуть его и, вместо чинного шествия благодушных хозяев с послушными псами получалась остервенелая карусель из лающих друг на друга собак и их раздражённых владельцев, то и дело дёргающих за поводки. Не забудем, что наш пёс был «не пищевой», и поэтому не видел никакого резона в том, чтобы выполнять команды. Воздействовать на него можно было только окриками или шлепками, да рывками поводка, от которых пёс хрипел и

задышался: кому же понравится учёба в таких условиях?

Неудивительно, что мы с Луи скоро оказались в безнадёжных «двоечниках». Мне это было обидно: я переживал за Луи, почти как за себя самого, но ничего не мог поделать ни с натурой собаки, ни с суровыми нравами, царившими на площадке. Это уж теперь, спустя много лет, я понимаю, что обычная, не состоящая на какой-либо службе собака должна выполнять всего две команды: «Ко мне!» и «Нельзя!» — их вполне достаточно для надёжного управления ею. Но, прежде чем осознать это, нам с Луи пришлось немало помучиться. Инструктор-кинолог (хмурая женщина, больше похожая на армейского прапорщика) то свистела в пронзительно верещавший свисток, то что-то зычно кричала, а я, шагая по кругу с другими «учениками», то одёргивал рычащего на соседей Луи, то вспоминал о том, как когда-то, в школьные годы, «дрессировали» меня самого.

Неподалёку от собачьей площадки, что на площади Маяковского (гипсовый трёхметровый поэт с гордым презрением наблюдал за нашими муками) располагалась школа, где я учился; а в школьном дворе был устроен плац для строевой подготовки. И мысль о родственном духе этих мест — собачьей площадки и школьного плаца — не раз вызывала у меня саркастическую усмешку. И в одном, и в другом месте некая сила пыталась стереть единично-индивидуальное и привести всех к безликому знаменателю. Как собак, совер-

шенно различных по нраву, облику и темпераменту, на дрессировочной площадке старались превратить в бездумно-послушные четвероногие механизмы, так и на школьном плацу ученик должен был превратиться в машину, тупо печатающую шаги и беспрекословно выполняющую команды.

Но оцените иронию жизни! Как за собаками наблюдал поэт Маяковский (точнее, его гипсовый истукан), так за нами, маршировавшими школьниками, с печальной усмешкой наблюдал Николай Васильевич Гоголь. Какими путями его грустный бюст оказался на школьном плацу — это тайна, покрытая мраком. Знаменитый писательский нос очень скоро отбили, и от этого облик Гоголя сделался ещё печальнее и одновременно смешнее, а наша шагистика под его иронично-обиженным взором обретала совсем уж абсурдный характер: словно мы ставили сцену из гоголевской пьесы. Режиссировал нами военрук майор Мирошник («Я — злой хохол!» — говорил он про себя); но он не обращал никакого внимания на своего великого соотечественника. Что, интересно, сказал бы бюст Гоголя, если б ожил? Изрёк бы своё знаменитое «Скучно на этом свете, господа!» — или просто печально вздохнул? Вот он, дескать, каков «русский человек в его развитии, каким он явится через двести лет»: только и знает, что с отяжкой печатать шаги, отдавать честь в движении, да по команде «Р-равняйся!» видеть в шеренге слева, как того требовали строевой устав и наш бравый

майор, грудь четвёртого человека. Но драматизм ситуации был ещё в том, что мне, шестнадцатилетнему юноше-допризывнику, шагистика нравилась больше и больше. Я блаженствовал от растворения в маршировавшей колонне, от выполнения перестроений и поворотов, от подчинения собственной воли многоногому и многоголовому существу по имени «воинский строй». Наши ноги одновременно взлетали и падали, руки давали отмашку, уши чутко ловили команды майора Мирошника, и каждый шаг отпечатывался не просто на сером асфальте, но словно бы напрямую на сердце — отчего оно изнывало в почти сладострастном восторге.

«Так вот оно, счастье служаки! — приоткрывалась мне одна из тёмных, манящих сторон человеческой психики. — Счастье в том, чтобы перестать быть собой, чтобы слить своё одиночество с множеством прочих, неотличимых один от другого людей, чтоб отдать свою волю, свободу и душу тому, что безмерно сильнее и больше твоей одинокой, несчастной, растерянной жизни...» Колонна, идущая строевым торжествующим шагом, одаряла странной иллюзией: чудилось, что никакая беда (даже смерть!) неспособна тебя отыскать в тех рядах, где ты уж и сам потерял самого же себя...

Нирвана шагистики долго меня не отпускала. Затем-то, возможно, бюст Гоголя и оказался на школьном плацу, чтоб развеять коварные чары, в которые я, впечатлительный юноша, погружался всё глубже. Ну-

жен был грустный, сочувственный, всё понимающий взгляд гения и христианина, чтобы словно окликнуть меня: «Андрей, не дури — возвращайся к себе! Раз уж ты создан особенным — так и неси одинокий крест своей личности, не отдавая его никому. Ведь ты человек — вот и будь человеком, а не бездумной машиной для выполнения строевых упражнений...»

6

С собачьей площадкой мы вскоре расстались — что было на пользу и нам, и Луи. Начальные навыки дрессировки мы кое-как освоили. Команды «Нельзя!» и «Ко мне!» наш пёс, хоть и не очень охотно, но выполнял, а большего мы от него и не требовали. Нам было нужно другое. Главной задачей Луи, вряд ли сразу осознанной нами и тем более им самим, — было согреть и укрепить отношения в нашей семье. И он с этой задачей прекрасно справлялся, несмотря на свой хмурый задумчивый вид, независимость и показную суровость. С чего, например, началось утро десятилетней девочки Даши — когда ей нужно было просыпаться ни свет, ни заря, чтоб идти в школу? Не будь собаки, утро стало бы сущим мучением: каждый может припомнить собственные пробуждения, особенно перед какой-нибудь ненавистой контрольной. В такие минуты и белый свет не мил, тем более не милы вредные эти родители, которые тормозят и торопят сонного и готового вот-вот заплакать ребёнка. А с Луи утро Даши начиналось

совсем по-иному. Заслышав первые шевеления просыпавшейся девочки, пёс подходил к ней и подставлял свою лохматую тёплую голову под её сонную руку. И Дашино утро всегда начиналось с улыбки. «Пё-ёс!» — говорила она, ещё не открывая глаз и глядя Луи по загравку. Она словно не верила: это счастье — собака! — всё ещё с ней, и оно не исчезнет, как сонные грёзы.

Луи никуда не исчезал. Пока Даша вставала с постели, он крутился поблизости и был даже не против объятий, хотя в иное время их избегал. Даша и обнимала его — пшеничные волосы покрывали серую спину собаки — и, случалось, со счастливым недоумением говорила: «А Луи пахнет мёдом...»

Так что первый удар наступавшего дня был для Даши смягчён её серым другом. И как же не быть благодарным Луи за эту защиту ребёнка от забот и печалей наступавшего дня? Согласитесь: начать утро с улыбки — совсем не то, что начать его, стиснув зубы или сглатывая слезу. Пёс был своего рода живым серым солнцем, что каждое утро согревало и озаряло Даше предстоящий ей на сегодня жизненный путь. Когда же она подросла, из школьницы стала студенткой медицинского института и на долгие годы обосновалась в Смоленске — её приезды в родительский дом становились праздником не только для нас с Леной, но и для пса. Луи распознавал уже её приближение к дому: он подходил к двери, прислушивался и начинал как бы для разминки помахивать хвостом.

А когда Даша появлялась в дверях, их обоюдное ликование достигало предела! Луи даже нам, родителям, не позволял обнять дочь-студентку: он вилял не просто хвостом, а всем телом, беспорядочно тыкался Даше в колени и в руки, сам не помнил себя от радости. Радовалась, конечно, и Даша. Едва поставив сумку, она опускалась на корточки и начинала трепать по спине и загравку ополумевшую от счастья собаку. Снова звучало давнишнее, детское: «Пё-ёс!» — и, надеюсь, Луи для Даши снова благоухал мёдом. Вторым по важности человеком для нашего пса являлась Дашина мама: она была, в прямом смысле, кормилицей Луи. Да и формально она числилась «владельцем собаки»: так было записано в собачьем паспорте. Лене, конечно, было непросто кормить «не пищевика»: тем более, что первые годы мы старались давать Луи натуральную пищу. Значит, надо было ежедневно варить говяжью обрезь или щековину, измельчать это мясо и жилы, смешивать с кашей, а потом уговаривать пса поесть. Он не приближался к миске, пока Лена ласково не подзывала его, не трепала по шее, а потом не давала первый кусок из своих рук. «Ты бы ещё перед ним станцевала!» — порой говорил я в сердцах: мне, никогда не страдавшему отсутствием аппетита, было трудно понять равнодушие пса к отварной говядине. Я, кстати, несколько раз — сначала по ошибке, а потом и сознательно — доставал кусок мяса из собачьей кастрюльки, подсаливал и с большим удовольствием уплетал.

Так что прости меня, пёс: случилось, я тебя объедал.

Другой процедурой, за которую отвечала хозяйка, было вычёсывание собаки. Эта картина всегда умиляла: Лена укладывала Луи на полу в гостиной, садилась рядом и начинала металлическим гребнем расчёсывать жёсткую, как проволока, шерсть пса. Луи поначалу недовольно ворчал и пыхтел, но скоро смирился и уже получал удовольствие от заботливых рук и хозяйского голоса. Лишь иногда, когда гребень цеплял за клочок плотно свалывшейся шерсти, Луи коротко взвизгивал — но, скорей, не от боли, а лишь для того, чтоб откликнуться на ласковое воркование хозяйки.

Дашин брат Дима в те годы, когда у нас появилась собака, дома оказывался нечасто: он учился сначала в Смоленске, потом в Москве, и в Калуге бывал лишь наездами. Но удивительно, с каким уважением Луи относился к нему! Пёс, вообще-то не очень любивший подчиняться кому-либо, команды Димы выполнял быстро и беспрекословно; и, когда вся семья была в сборе, Луи всем своим видом и поведением оказывал предпочтение именно Диме, очевидно, считая того сверхчеловеком. То ли высокий рост, то ли голос, уверенный и молодой, то ли решительные движения, то ли нечастые появления в доме (как известно, чем реже встречи, тем крепче дружба и тем сильнее уважение), но что-то в Диме было такое, что заставляло Луи благоговеть перед ним. Остальным — тем, кто постоянно жил рядом с со-

бакой, кормил её и выгуливал, было, помнится, даже немного обидно; но чувство благоговения, как и чувство любви, есть тайна, неподвластная ни рассудку, ни справедливости.

Старшие в нашей семье — мои мать с отцом, живущие этажом ниже. У них с Луи тоже, естественно, сложились свои отношения. Когда мы, молодёжь, уезжали куда-то, куда собаку взять с собой не могли — она оставалась на попечении моих родителей. Мама Луи кормила, отец с ним гулял — и оба его полюбили. Я вообще не представляю себе человека настолько бесчувственного, что он не полюбил бы такую собаку, как наш бородатый, лохматый мудрец. А уж моя матушка, по своей натуре тревожно-заботливая, опекала Луи, как ребёнка — хоть этому «мальчику», в пересчёте с собачьего возраста на человеческий, было уже далеко за «полтинник». Однажды мама спасла Луи жизнь. Пёс к тому времени заметно одряхлел и окончательно переселился на первый этаж, к родителям: спускаться и подниматься по крутой лестнице ему становилось всё тяжелее, а носить его на руках не позволяли наши больные спины. И вот однажды, в февральскую вьюгу, когда мело с небывалою силой, и следы людей и собак заносило за считанные минуты, отец возвратился с прогулки один, потому что Луи потерялся в метели. Это случилось неподалёку от дома: отец, ослеплённый несущимся и залепающим очки снегом, не заметил, как старый и тоже плохо видящий пёс отстал, сбился с тропы и растворился в сле-

пых завихрениях вьюги. На поиски вышли втроём: отец, мать и я. Шагая почти по колено в снегу, мы разбрелись в разных направлениях, то и дело окликавая собаку. Голос на холоде быстро охрип, и был еле слышен сквозь пелену снегопада и посвисты вьюги. Даже я, человек ещё сравнительно крепкий, очень скоро устал идти сквозь метель; что же говорить о моих родителях, чей возраст приближался к восьмидесяти? Но искали они героически, не давая себе поблажки, хоть надежды и силы таяли с каждой минутой и с каждой сотней пройденных метров.

Настал тот момент, когда брести сквозь метель заставляла уже не столько надежда найти Луи — сколько невозможность вернуться домой без собаки. Не помню, в который уж раз я обходил территорию нашей больницы, с сердечною мукой представляя себе то обессилевшего и замерзающего в сугробе Луи, то предстоящий звонок в Смоленск, Даше, с рассказом о том, что случилось. Эти тяжкие мысли крутились в голове столь же путано и неотвязно, сколь неустанно кружилась метель. Вдруг я почувствовал, как задрожал, а потом запиликал в кармане мобильник, и через секунду послышался мамин измученный голос: «Нашёлся!» Оказалось, она зашла в поисках дальше всех нас — и уже за деревней, в полях, у железнодорожной насыпи наткнулась на белый дрожащий сугроб, в который превратился наш замерзающий пёс. Идти самому у него уже не было сил — он шатался и падал, поэтому почти весь путь до

дома я нёс облепленного снегом Луи на руках. И спал он потом почти целые сутки, сам, видно, не веря тому, что опять возвратился к семье и к жизни.

7

Но самые яркие воспоминания, связанные с Луи — это воспоминания о походах. Байдарки в нашей семье существовали, сколько я себя помню. Бывало, отец со своим другом юности Юрой собирались в очередной сплав, раскидывали по полу спальники, рюкзаки, надувные матрацы и банки с тушёнкой, а я, семи-восьмилетний, смотрел на всё это с мучительной завистью. Потому что второй заветной мечтой моего детства, кроме мечты о собаке, была мечта о байдарочном путешествии.

А уж совмещение двух заветных желаний — путешествие вместе с собакой — являлось апофеозом семейного счастья. Правда, я не уверен, что Луи, особенно в начале походов, разделял наши восторги. Да, он произошёл от неприхотливой «собаки кучера»; но, ведя жизнь в комфорте, вдаль от конюшен, карет и почтовых дорог, он, конечно, изнежился и избаловался.

Вдруг после тёплой квартиры и мягкой подстилки он оказывался под дождями и ветром, в зыбко качавшейся лодке, в окружении туч комаров и мошки, а по ночам — в окружении тех, позабытых им, звуков и запахов дикого леса, которые заставляли пса то и дело вздрагивать и просыпаться в тамбуре палатки. А уж на то, как он поначалу боялся

садиться в байдарку, смотреть без смеха было нельзя. Он пытался и упирался всеми четырьмя лапами, а его лохматая морда выражала ужас и недоумение: да как можно променять твёрдую землю на зыбкое колышание лодки? Приходилось и тащить его за ошейник, и шлёпать по заду веслом и, в конце концов, на руках заносить в лодку растопырившего лапы и выворачивающегося Луи. Но так было только в самом начале. Стоило нам как-то раз сделать вид: мы оставляем Луи одного — лодка отчалила и легко заскользила вдоль влажной полоски песка, истолчённой лапами трясогузок и куликов, — как пёс заметался по берегу, оглашая окрестность рыдающим лаем. В этих рыданиях слышалось: «Куда ж вы, родные? Как же я буду без вас, в этом диком лесу, среди диких зверей, в этой бесчеловечной природе? Вспомните: вы сами читали вслух уютными зимними вечерами, пока я дремал на подстилке: «Вы, люди, в ответе за тех, кого приручили!» Урок оказался доходчив. Теперь, стоило нам начать загружать байдарку перед отплытием — класть палатку в корму, а котелки с мисками в нос и сооружать сиденья из набитых тряпьем гермоупаковок, — как Луи неотвязно крутился у лодки, ожидая момента, когда можно будет (иногда самым первым!) прыгнуть в неё и улечься на дне между стрингеров. Можно сказать, что он из «собаки кучера» превратился в «собаку байдарочника» и прекрасно справлялся с этой новой ролью.

О, как он гордо и важно сидел меж

гребцов, озирая скольльзящие мимо обрывы и пляжи! Если мы проходили мимо чьей-либо стоянки, и Луи видел на берегу людей — над гладью реки разносился его басовитый, густой и торжественный лай. Люди на берегу все, как один, оборачивались и с уважением смотрели на нашу лодку. Возможно, им даже хотелось отдать нам честь, как делают моряки, когда мимо проходит корабль адмирала. А Луи в такт гребкам чуть качал седой бородой — ну, настоящий морской волк! — и только что не выкрикивал: «Ставь бом-брамсели, якорь вам в глотку!» Он настолько освоился в лодке, что начал ходить по бортам, и это конечно же вызвало критический крен судна и возмущение всего экипажа. Но должен же сторожевой пёс обходить вверенную его попечению территорию? А поскольку наш мир сузился до размеров трёхместной байдарки «Таймень», Луи и пытался обходить этот мир дозором. Очень скоро он доходил до того, что соскользнул в воду — а место было, что называется, «стрёмное», — и мне пришлось хватать его за бороду, чтобы удержать на быстрине возле борта и затем кое-как втащить обратно. После этого случая адмиральская спесь с Луи несколько сбилась, и он большую часть времени лежал и дремал на дне лодки.

Когда мы причаливали на стоянку, Луи первым прыгал на сушу и, задрав лапу, метил несколько ближних кустов, обозначая наше присутствие и законное право на место. Пока ставили лагерь, пёс свободно обсле-

довал берег (он вообще жил без поводка), но благоразумно не отходил далеко: кто его знает, что кроется в этой сомнительной дикой природе? Инстинкт зверя и привычка к существованию рядом с людьми сложно смешивались и боролись в душе собаки: иногда это приводило к комическим результатам. Так, я однажды увидел, как пёс что-то почуял сквозь толщу земли и стал яростно рыть яму под корнями сосны. Песок, камни, шишки и рыжая хвоя летели во все стороны; Луи запалённо хрипел; а его перепачканная и оскаленная морда могла бы сделать зайкой того, кто внезапно увидит это страшилище.

И вот, в результате неистовых землеройных работ, наш Луи откопал крысиное гнездо: на дне осыпавшейся ямы копошилось шесть серо-розовых и очень противных крысят. Казалось бы: вот он, твой ужин, до которого ты с таким пылом дорылся! Стоит несколько раз щёлкнуть зубами (а они, как вы помните, у Луи были словно «на вырост»), как от крысят ничего не останется. Но Луи — это надо же! — оторопел. Он недоумённо смотрел то на крысят, то на меня, словно спрашивая: «Ну, и что мне со всем этим делать? Ведь я привык есть из миски, да чтобы первый кусок мне давала с ладони хозяйка, но что-то я сомневаюсь, что она поднесёт мне на ладони крысёнка...» Я в этом тоже не был уверен, и поэтому даже не стал звать Лену. Кончилось тем, что Луи чуть присыпал крысят песком с хвоей — он делал это брезгливо, задними лапами — и потрусил к разгоровшемуся

костру, надеясь на порцию гречки с тушённой.

Там, у костра, он обычно и проводил вечера, пока мы готовили ужин и ели, разговаривали и пели песни (иногда в нашей компании оказывалась гитара), пока ночь сгущалась вокруг огня, бросавшего блики на ветви сосен и мокрые днища перевёрнутых лодок. До того, чтобы бегать вокруг, охраняя наш лагерь, Луи не снисходил: он считал, что достаточно время от времени поднимать горячую от огня голову и коротко взлаивать, чтобы ночной лес и ночная река знали о нашем существовании. Но даже с таким нерадивым сторожем было спокойнее: всё же слух и чутьё у Луи были много лучше наших, и он непременно обозначил бы своим грозным лаем чьё-либо приближение из темноты. Вообще, наши походы с Луи обрели ту полноту, какой в них не было прежде. Пёс становился посредником между нами и дикой природой, был переводчиком, знавшим, хотя и нетвёрдо, два языка: язык человеческих жестов и слов и язык таинственных шорохов, шелестов, вздохов, на котором говорила природа. И мы видели, как с каждым днём (а особенно с каждой ночью) Луи становился всё ближе к природе, с которой когда-то расстались его отдалённые предки, и эта природа всё понятней ему. Он уже не вздрагивал, как вначале, от каждого звука или тени, а с жадным, взволнованным интересом внюхивался и вслушивался в тот мир, что звал возвратиться в его первобытные де-

бри. Даже внешне Луи становился другим: он мужал с каждым днём, проведённым в походе. Его грозный голос звучал всё реже (к чему напрягаться по пустякам?), движения делались точными и скупыми (суеются лишь те, кто в себе не уверен), а шерсть, омытая и дождями, и росами, и купаньем в реке, лоснилась, как дорогие шелка.

И теперь он всё больше любил созерцание. Видимо, те часы, что он проводил в качавшейся лодке, в окружении сложно и непрерывно текущей воды, приоткрыли какие-то новые двери в сознании пса — и он всё чаще предавался тому, что мы, люди, зовём медитацией.

Луи выбирал непременно красивое место, где-нибудь на мостках, или над живописным обрывом, садился мордой к реке и застывал как серое изваяние. Он мог сидеть так часами, особенно если мы делали днёвку и никуда не спешили. Вот что, интересно, он думал, что чувствовал, что постигал, пока воды реки текли перед ним, пока солнце плыло по небосклону, и пока день взбирался от утра к полудню, а потом начинал незаметно соскальзывать к вечеру? Смысл китайского слова «чань» (или «дзен», как его произносят японцы) был, конечно, Луи неведом; но то, в чём пёс существовал эти часы, было именно созерцанием. Луи так сливался со всем окружающим — с рекою и берегом, соснами и облаками, — что сам становился неотъемлемой частью всего. Он был, с одной стороны, почти незаметен; а с другой, мы уже не представляли пейзаж нашей

стоянки без этого серого столбика над обрывом, неподвижно следящего за неудержимо текущей водой.

Созерцательности в натуре Луи было столько, что мы порой обращались к нему на китайско-даосский манер: «Дядюшка Лу». А один из напитков, как-то удачно составленных нами во время обломного ливня, загнавшего нас в палатку — его компонентами были спирт, бальзам «Рижский» и речная вода — мы так и назвали: «Грёзы дядюшки Лу». Возвращение к природе, которое происходило с Луи в походах, было одновременно и его возвращением к себе самому. Так, настоящим триумфом Луи стало одно ясное и морозное утро, когда в нём пробудился инстинкт пастуха. Это было в верховьях Угры. Тот май случился на редкость холодным: за ночь полог палатки так заледенел, что его приходилось с хрустом надламывать, выбираясь наружу. Зато утро было сияющим: сверкала под солнцем река, и сверкал иней на приречном лугу, на котором, поодаль от нашего лагеря, паслось два десятка коров. Пастухов было двое и они, уже спозаранку, достали бутылку: как иначе согреешься в зябкое утро? А коровы словно почувствовали, что пастухам не до них, и разбрелись, кто куда: одни с треском проламывались сквозь ивняк у воды, а другие шумно вздыхали среди сосен недалевого леса. И вот наш Луи (который прежде коров и в глаза-то не видел) вылез из тамбура обледенелой палатки, зевнул во всю пасть, потянулся и вдруг разглядел, что творилось на заин-

девелом лугу. Пёс аж закашлялся от возмущения: да как можно было терпеть, чтоб коровы, забыв стыд и совесть, слонялись, где им захочется? Душа пастуха не стерпела такого бесчинства: Луи с хриплым лаем понёсся по лугу, как бы оплетая коров невидимой нитью своего прихотливого, но при этом рассчитано-точно го бега. Сначала он выгнал тех, что бродили по краю леса; затем отогнал двух коров от реки и, продолжая затягивать незримую сеть, стал сбивать изумлённо мычащих коров в пёструю чёрно-белую кучу. Забавно было смотреть, как громадные рябые коровы испуганно шарахаются от крошечного, по сравнению с ними, пса, безоговорочно признавая его пастушьи права, закреплённые в родовой памяти и коров, и собак. Это было великолепное зрелище! Луи и коровы сбивали иней с травы — она зеленела там, где пронёсся стремительный пёс и протопали грузные туши коров — так, что скоро весь седой луг был разрисован изумрудными полосами. Солнце сияло, небо синело, пар поднимался над коровьими спинами — и всё это происходило под густой, как шалыпинский бас, торжествующий лай. Кто-то из нас даже заплодировал: «Браво, Луи!» А пастухи были словно громом поражены. Они, раскрыв рты, смотрели, как ловко Луи управляется с их стадом, и, кажется, даже забыли о выпивке. Потом один из них встал, пошатнулся и прокричал в мою сторону: «Хозяин, я тебя умоляю: продай нам собаку!»

Конечно, Луи не сплывал нашу семью тем же способом, каким он сбивал в кучу коров на приречном лугу — хоть, может, ему порой и хотелось бы сделать это — но несомненно, что он был своего рода объединяющим центром, к которому устремлялись заботы, мысли, симпатии всех поколений, из которых наша семья состоит. И старые, и молодые любили Луи и не упускали случая обратиться к нему, дружески потрепав по загривку: как, мол, дела, старичок? И хоть Луи был не очень-то разговорчив, но любой из нас вёл беседы с собакой. Удивительный, если вдуматься, феномен: разговор человека и пса. Вот с кем мы общаемся, когда треплем лохматую морду, заглядывая во внимательные собачьи глаза, в которых мы сами же и отражаемся? Сказать, что это разговор только с собакой, нельзя: хотя бы уже потому, что она не вполне понимает смысл обращённых к ней слов, а внимает лишь звуку и интонации нашего голоса. Но тогда, может быть, обращаясь к собаке, мы говорим сами с собой, а пёс служит всего лишь пассивно-безмолвным свидетелем нашего монолога? Но, согласитесь, и это не вполне так. Вот попробуйте подойти к зеркалу и поговорить по душам со своим отражением. Вы сразу почувствуете: это далеко не то же самое, что обращаться к внимательному четвероногому собеседнику. Всё же пёс — это не мы сами, а некто «иной»; вот к «иному»-то мы и обращаемся, когда кладём руку на его тёплую холку и бормочем каки-

е-то — заметьте, всегда искренние — слова. В такие минуты мы словно приоткрываем псу свою душу и отчего-то уверены, что он эту душу и чувствует, и понимает. Мы, если вдуматься, через собаку обращаемся сразу ко всей бессловесной природе. Она высылает к нам своего «парламентёра», вот этого пса — или это мы сами отсылаем «посла» ей навстречу? — чтобы он стал посредником между природно-естественным миром, оставленным нами когда-то, и нашей искусственной нынешней жизнью. Мы то ли каемся в нашем давнишнем разрыве с природой, то ли убеждаем самих же себя и её (в лице внимательно слушающей нас собаки) — этот разрыв был необходим: хотя бы для осознания смысла того, зачем существуем мы, и собака, и весь окружающий мир. Но несомненно: при разговоре с собакой вибрирует некая нить, которой мы связаны и со всеми иными, как бы смотрящими в наши глаза, существами — со всеми, в ком теплится жизнь. Мы словно им говорим через нашу собаку: «тат твам аси» — «ты есть я сам». Да, мы гораздо ближе друг другу, чем это принято думать, и мы все нуждаемся в ласке, заботе, снисхождении и понимании... Есть и ещё поворот нашей темы — разговоры с собакой — это тот случай, когда разговор превращается в исповедь. Как много услышали наши собаки от нас, хмельных иль несчастных, удручённых заботами или впавших в отчаяние, когда мы никому, кроме верных и бессловесных четвероногих друзей, не могли излить свою

душу! То ли рядом в тот час не оказалось никого из близких людей, то ли наши признания слишком интимны, то ли ещё по какой-то причине, но порою мы доверяем собакам то, что не решаемся поведать никому иному. «Если б ты знал, какой я подлец!» — говорит, например, человек, обняв Тузика или Полкана, а тот, преданно глядя в глаза, бьёт хвостом и словно хочет сказать: «Хозяин, да не убивайся ты так, я люблю тебя даже такого...» Меня, если честно сказать, удивляет: отчего некоторые из религий относятся к собакам с неприязнью? Так, в иудаизме собака — настолько презренное существо, что даже деньги, вырученные от её продажи, считаются грязными, и их нельзя, скажем, жертвовать храму. Ислам продолжает традицию иудаизма по отношению к собакам: грязнее и недостойнее их считаются разве что свиньи. У мусульман-шиитов запрещено даже касаться собаки: после такого прикосновения надлежит пройти особый обряд очищения. Индуизм и буддизм, признающие метемпсихоз, учат: души злых людей переселяются как раз в собак — что, ясное дело, не вызывает почтения к этим животным. Ещё хорошо: родное нам христианство при сдержанном в целом отношении к собакам — так, входить в храм им строго запрещено — хотя бы отчасти их реабилитирует. Тут можно вспомнить: в католическом Средневековье символом духовенства считалась овчарка — как пастырь, оберегающий души вверенных ей овец — или то, что на гербе ордена

св. Доминика изображена собака, в пасти которой мы видим пылающий факел, то есть свет истины. Да и само название ордена доминиканцы трактуют, как «Domini cannes» — «Господни псы». А св. Христофор, чтимый и в католичестве, и в православии, которого изображают на иконах с собачьей головой? Очевидно, собака хотя бы допущена в мир христианства как Божия тварь, на ком отпечатаны мысли Того, Кто её сотворил. Но выше всего собака вознесена в зороастризме, учении древних ариев. В понятиях этой религии собака почти равна человеку, ибо она обладает бессмертной душой. А души умерших людей находят убежище именно в собаках, с чем связано несколько трогательных ритуалов зороастризма. Так, собак кормят первыми, лучшей едой — ведь это, по сути, кормление предков. К умирающему человеку подносят щенка: чтобы душе после смерти не пришлось долго искать прибежища. И, наконец, собак погребают по тем же правилам, что и людей, ещё раз подчёркивая их близость. Конечно, собаки стоят ниже нас на ступенях тварного мира; но кое в чём они могут служить для нас и примером. В известном смысле, собаки относятся к людям так, как нам самим надлежит относиться к Богу: с бескорыстной преданностью и безусловной любовью. Собака нам верит и служит, не рассуждая: что даст ей самой эта вера и преданность, и где пролегалта граница собачьей любви? А высшее счастье собаки — быть рядом с хозяином: разве это не обра-

зец для наших собственных отношений к Отцу, сотворившему видимый и невидимый мир? Недаром есть шутка, в которой отчасти и выражается то, о чём я рассуждаю. «Господи, — просит хозяин, — пусть я стану таким, каким меня видит моя собака...»

9

Но пора возвратиться к Луи. Наш пёс с годами, конечно, менялся. Первые два-три года жизни он был неумным и активен. Просторы и вольные нравы Бушмановки позволяли гулять с ним без поводка; и я уставал вертеть головой, следя за Луи, нарезающим стремительные круги межу кустами, деревьями и другими собаками, которых он, кажется, вовсе не замечал в пылу бега.

Случалось, он сопровождал и велосипедные наши прогулки, как его предки, «собаки кучера», сопровождали всадников или кареты, и казалось, что ему не составляет никакого труда нестись вровень с велосипедом по соседней просёлочной колее. А лыжи? Ведь мы его брали с собой в зимний лес, на лыжные пробежки: даже тогда, когда снег был собаке буквально по уши. Но это Луи не смущало и не останавливало: он пробивался прыжками в глубоком снегу, а серые уши взлетали и опадали, как крылья.

Только примерно к четвёртому году жизни он стал мало-помалу остепеняться. Бездумно-бесцельные гонки его уже не привлекали; разве что, встречаясь во время прогулок с какой-нибудь дружелюбной знако-

мой собакой, он мог затеять с ней игру в догонялки. Теперь ему интереснее было вынюхивать что-нибудь, рыться в земле, метить свою территорию, задирая заднюю лапу — в общем, вести себя, как солидный и сознающий свою солидность джентльмен. Именно в эту пору мы и обнаружили в нём склонность к задумчивости и созерцательности. То ли он осознал тщету и бессмысленность прежних щенячьих восторгов, то ли в нём поубавилось жизненных сил, но с годами Луи превратился во флегматичного пса, расшевелить которого было непросто. И это при том, что он оставался поджар, мускулист, и продолжал вызывать неизменное восхищение прохожих.

Болел ли наш пёс? Конечно, болел: ни собаки, ни люди не проживают свой век без хворей. Случалось ему подцепить и пироплазмозных клещей, после чего он мочился кровью, шатался от слабости, и мы спешно везли Луи в ветеринарную клинику. Иногда давал сбои кишечник, чего пёс стыдился, прямо как человек. С годами — ведь его жизнь протекала много быстрее, чем наша, и возраст собаки стремительно обгонял человеческий — пришли возрастные болезни. Глаза помутнели от катаракты, что, к счастью, было не очень заметно из-за густых бровей, и не очень мешало псу жить: он и в молодости больше доверял слуху и нюху, нежели зрению.

Перейдя жизненный полдень, Луи стал страдать и от болей в суставах. Было видно, как трудно ему подниматься или спускаться по

лестнице — это ему-то, который в молодости поражал нас своей неуёмной подвижностью! Но все хвори и боли пёс переносил смиренно и терпеливо, как и положено мудрецу, и редко унижался до поскуливания или визга. Он только вздыхал да покряхтывал, с трудом вылезая, к примеру, из-под журнального столика, где спал на подстилке, и разминая затёкшие за ночь суставы. «Эх, Луи, совсем ты стал старичок...» — говорил я, бывало, ему, пока пёс на негнущихся лапах делал несколько первых шагов. Артрит, донимавший его всё сильнее, и стал главной причиной: в последние два года жизни Луи переселился из нашей квартиры на втором этаже в квартиру моих родителей, живших на первом. Теперь гулял с ним в основном мой отец. «Прогулки двух патриархов» — так назывался этот этап нашей семейной жизни. Поразительно, до чего они были похожи: мой восьмидесятилетний отец и седой старый пёс, который в пересчёте с собачьего возраста на человеческий был даже старше отца. Множество раз я наблюдал из окна, как живописный наш двор в лучах летнего солнца, или под снегопадом, или в осеннем тумане пересекают подтянутый седобородый старик с безупречной осанкой, шагающий неторопливо и важно, и чуть ли не шаг в шаг с ним, так же солидно и неторопливо, ступает седобородый Луи. Оба они к тому времени плохо видели, плохо слышали, плохо ходили, но это ничуть не мешало величаво-неспешной торжественности их утреннего

променада. Два патриарха выходили то на футбольное поле, то оставались на склоне оврага, над журчащим в ольховой урёме ручьём, и приступали к гимнастическим упражнениям. Отец приседал, наклонялся, сводил-разводил руки, а пёс терпеливо сидел у его ног, и казалось: он вот-вот тоже начнёт делать махи лапами, наклоны и приседания. Похоже, патриархи настолько привыкли друг к другу, что уже и не представляли: как можно гулять в одиночестве? Любый рассказ о прогулке — о том, что он видел или подумал во время неё — отец начинал словами: «Вот идём мы с Луи...» Вероятно, и пёс, если б мог говорить, начинал бы со слов: «Вот выхожу я утром с Юрием Васильевичем...» Так что заслуги Луи перед нашей семьёй воистину неоценимы. Мало того, что он её укрепил, и эти скрепы держали целых четырнадцать лет, до самой кончины пса, но он ещё согрел детство Даши и старость её деда, моего отца: и старым, и малым Луи отдал часть собачьей души и жизни.

10

Луи жил достойно и достойно старел. Хотя он теперь большую часть суток проводил в старческой дрёме, просыпаясь лишь для того, чтобы полакать воды, да похрустеть сухим кормом — на прогулках он продолжал оглашать окрестности своим густым басом, как бы напоминая всем: «Аз — есмь!» Да, старый солдат продолжал нести службу, хоть он уже и полысел, и лапы его плохо гнулись, и мышцы ослабли. Голос,

выражающий силу собачьего духа, настолько превосходил возможности постаревшего тела, что порой это выглядело трагикомически. Бывало, подслеповатый Луи разглядит что-то крупное — человека, собаку или куст — и рявкнет с такой оглушительной силой, что сам же и падает набок от своего грозного лая... Прожив на свете четырнадцать лет (а это для средних шнауцеров срок предельный), Луи стал заметно даже не то что худеть, а вот именно сохнуть. Затылок, который уже не покрывали мощные мышцы загривка, выпирал углом, а кости таза и рёбра проступали сквозь поредевшую шерсть. Очевидно, что пса донимала какая-то опухоль. Достаточно скоро она обнаружилась: это была саркома челюсти.

Не буду подробно описывать ни повторявшиеся кровотечения, ни ту сердечную боль, с какой мы наблюдали за последней болезнью Луи, протекавшей быстро и, кажется, безболезненно. Во всяком случае, пёс никак не выражал страданий: лишь в последнюю ночь он позволил себе подвывать, как бы прощаясь с нами и с миром. Умирал он в тёплый солнечный день, 29 марта, в уже просохшем саду. Я вынес его на руках и уложил на подстилку: чтобы он отошёл в «страну вечной охоты» не из тесных пределов квартиры, а из весеннего сада, где по ветвям оживлённо сновали синицы, а над сухой прошлогодней травой порхали жёлтые бабочки. Меня поражало, как пёс, уже в самом конце, пытался снова и снова встать на ноги. Сил

у него не осталось — он шатался на подгибавшихся лапах, неспособный сделать ни шага — но непременно хотел встретить смерть стоя. Когда же я, сам не зная зачем, нажимал ему на спину — лежи, мол, лежи, так тебе будет легче! — то ощущал неожиданное сопротивление. Видно, в собачьей душе было что-то такое, что требовало бороться и сохранять достоинство до последних минут — была сила, которая преодолевала бессилие умиравшего тела.

Наконец, он лёг, чтоб уже не вставать, и ветер стал так равнодушно трепать его шерсть, как можно трепать шерсть только мёртвой собаки... Не знаю, как хоронят собак зороастрийцы, но мы, расставаясь с Луи, как-то произвольно перенесли на этот печальный обряд кое-что от человеческого погребального ритуала. Так, мы не просто засыпали могильную яму землёй, а сделали холмик, на который потом положили гранитный валунчик, доселе обозначающий место, где покоятся лёгкие кости Луи. Остатки сухого собачьего корма, которые наш пёс не успел съесть, я отнёс соседке, прикармливающей бродячих собак: чтобы они, таким образом, помянули собрата. Да и мы, люди — я, отец, мать и Виталий с Наташей, наши добрые друзья и соседи — посидели в тот вечер за поминальной чаркой. И, как это обычно бывает на тризне, сначала вздыхали, печалась о нашей общей потере, а потом даже смеялись, вспоминая забавные случаи, что приключались с Луи. То есть существование пса продолжалось,

но уже в памяти тех, кто его знал и любил. А не в этом ли и остаётся самое важное, что одолевает холодное равнодушие смерти и позволяет нам всем — собакам и людям — длить посмертное бытие, столь же загадочно-неуловимое, сколь несомненное?

11

На этом можно бы и завершить рассказ о сером шнауцере по кличке Луи, но жаль расставаться и с ним, и с семьёй, в которой он жил четырнадцать лет и которую так укрепил и согрел. Он ушёл как раз в дни, когда началась пандемия коронавируса, когда привычный мир стал стремительно и необратимо меняться, когда всё поделилось на «до» и «после» — и прошлое стало казаться таким прекрасным, каким может казаться лишь то, с чем мы распрощались. Но эти же все расставания, пережитые нами в прошлом году, показали нам: прошлое не исчезает. Мало того, что у Бога все живы — «Deus conservat omnia», — но прошлое и встаёт в полный рост лишь после того, как уходит от нас за ту грань, где его уже не терзают суетливые демоны времени.

Разве мы успеваем осмыслить, прочувствовать и вполне полюбить то, среди чего мы живём в настоящем? Мы словно придавлены грузом забот и житейскою «злобою дня» — нам обычно не до того, чтобы вникнуть и вдуматься в суть людей, вещей или явлений. Да и самим этим вещам и явлениям тесно жить в настоящем: они словно не могут под гнётом времени ни расправить плечи, ни вдохнуть полной грудью. И вот

только уйдя в «безвременье» — мир расцветает. Как значительны, как глубоко вдруг становятся те разговоры и встречи, что остались жить в наших воспоминаниях... Реальность нечасто способна растрогать нас, выжав слезу умиления; зато прошлое делает это легко. Иначе и не сложилась бы та поговорка, в которой так много печали и мудрости: «Что имеем — не храним, потерявши — плачем».

Иными словами, чтобы вполне увидеть и осознать то хорошее, чем нас одарила судьба — с этим надо расстаться. Разлука в пространстве и времени создаёт напряжение любви и печали — необходимое нам, чтобы по-настоящему встретиться с тем, чего больше нет. Только теперь, вспоминая на этих страницах Луи, я вполне понимаю, каким замечательным был наш серый пёс. Да, он был хитроват и ленив, он не умел гонять кошек, но зато он не причинил вреда никому из живых существ. Он не был охотником или пастухом, он не зарабатывал хлеб, что называется, в поте лица, но он в меру сил украшал Божий мир статью и голосом. Когда все встречные и поперечные приветствовали Луи возгласом: «Какой красавец!» — разве это не делало мир чуть полнее и гармоничнее? А уж для нашей семьи Луи был просто сокровищем. Кто согрел детство Даша и старость отца? Кто, как серый громоотвод, порой гасил напряжение, что копилось меж нами с женой и могло вот-вот разразиться грозой? Всем мудрым и меланхолическим видом Луи словно нам говорил: «Да бросьте вы лаяться по пустякам! Не

мешайте мне спать: уж я-то знаю, насколько бессмысленны ваши мелкие ссоры...» Да, Луи был прекрасен флегматичной мудростью и равнодушием к пище, своей деликатной застенчивостью и терпеливостью в хворях — теми чертами собачьей натуры, что были бы, прямо скажем, нелишними и для человека.

И столь же прекрасна — теперь я вполне это вижу и сознаю — была и семья, в которой жил пёс. В этой семье были общие будни и праздники, были вечерние чтения и обсуждения книг — кто может похвастаться тем, что в его семье вслух прочитали «Войну и мир»? — были байдарочные походы, каждый из которых разворачивался в целую жизнь, бесконечно богатую и интересную, были общие тренировки в бассейне (давненько мы, Даша, не проплывали тест Купера!), были велопоходы по живописным окрестностям нашей Калуги, были новогодние ёлки (которые Луи, помнится, не очень любил: нарядная ёлка на целые две недели вытесняла пса с привычного места), и было ещё множество больших и малых событий, из которых и состояла счастливая жизнь нашей семьи. Эта жизнь вполне состоялась ещё и потому, что теперь она в прошлом. Она перешла в мир без времени — тот, где ей ничто больше не угрожает. В том же мире, надеюсь, живёт и Луи — серый лохматый пёс, обнимая которого по утрам, десятилетняя Даша расплывалась в счастливой улыбке и говорила: «Луи пахнет мёдом...»